



Н. А. БЕРДЯЕВ

**Ветхий и Новый Завет
в религиозном сознании Л. Толстого**

О Льве Толстом писали очень много, слишком много. Может показаться притязательным желание сказать о нём новое. И всё же нужно признать, что религиозное сознание Л. Толстого не было подвергнуто достаточно углублённому исследованию, мало было оцениваемо по существу, независимо от утилитарных точек зрения, от полезности для целей либерально-радикальных или консервативно-реакционных. Одни с утилитарно-тактическими целями восхваляли Л. Толстого, как истинного христианина, другие, нередко с столь же утилитарно-тактическими целями, анафематствовали его, как слугу антихриста. Толстым пользовались в таких случаях, как средством для своих целей, и тем оскорбляли гениального человека. Особенно подверглась оскорблению память о нём после его смерти, сама смерть его была превращена в утилитарное орудие. Жизнь Л. Толстого, его искания, его бунтующая критика — явление великое, мировое; оно требует оценки *subsresie* вечной ценности, а не временной полезности. Мы хотели бы, чтобы религия Л. Толстого была подвергнута исследованию и оценена безотносительно к счётам Толстого с правящими сферами и безотносительно к распре русской интеллигенции с Церковью. Мы не хотим, подобно многим из интеллигенции, признавать Л. Толстого истинным христианином именно потому, что он был отлучён от Церкви Св. Синодом, так же, как не хотим, по этой же причине, видеть в Толстом только слугу дьявола. Нас интересует по существу, был ли Л. Толстой христианином, как он относился к Христу, какова природа его религиозного сознания? Утилитаризм клерикальный и утилитаризм интеллигентский нам одинаково чужды и одинаково мешают понять и оценить религиозное сознание Толстого. Из обширной

литературы об Л. Толстом нужно выделить очень замечательный и очень ценный труд Д. С. Мережковского «Лев Толстой и Достоевский», в котором впервые по существу были исследованы религиозная стихия и религиозное сознание Л. Толстого и вскрыто язычество Толстого. Правда, Мережковский слишком пользовался Толстым для проведения своей религиозной концепции, но это не помешало ему сказать правду о религии Толстого, которую не затемнят позднейшие утилитарно-тактические статьи Мережковского о Толстом. Всё же работа Мережковского остаётся единственной для оценки религии Толстого¹.

Прежде всего нужно сказать о Л. Толстом, что он — гениальный художник и гениальная личность, но он не гениальный и даже не даровитый религиозный мыслитель. Ему не дано было дара выражения в слове, изречения своей религиозной жизни, своего религиозного искания. В нём бушевала религиозная стихия, но она была бессловесной. Гениальные религиозные переживания и недаровитые, банальные религиозные мысли! Всякая попытка Толстого выразить в слове, логизировать свою религиозную стихию породила лишь банальные, серые мысли. В сущности Толстой первого периода, до переворота, и Толстой второго периода, после переворота, — один и тот же Толстой. Мировоззрение юноши Толстого было банально, он всё хотел «быть, как все». И мировоззрение гениального мужа Толстого так же банально, он так же хочет «быть, как все». Разница лишь в том, что в первый период «все» — это светское общество, а во второй период «все» — это мужики, трудящийся народ. И в течение всей своей жизни банально мыслящий Толстой, желавший уподобиться светским людям или мужикам, не только не был *как все*, но был *как никто*, был единственным, был гением. И всегда были чужды этому гению религия Логоса и философия Логоса, всегда религиозная стихия его оставалась бессловесной, не выраженной в слове, в сознании. Л. Толстой исключительно оригинален и гениален и он же и ограничен. В этом бьющая в глаза антиномичность Толстого.

С одной стороны, Л. Толстой поражает своей органической светскостью, своей исключительной принадлежностью к дворянскому быту. В «Детстве, отрочестве и юности» обнаруживаются истоки Л. Толстого, его светское тщеславие, его идеал человека *comme il faut*. Эта закваска была в Толстом. По «Войне и миру» и «Анне Карениной» видно, как близка была его при-

роде светская табель о рангах, обычаи и предрассудки света, как он знал все изгибы этого особого мира, как трудно казалось ему победить эту стихию. Он жаждал уйти из светского круга к природе («Казаки»), как человек слишком связанный с этим кругом. В Толстом чувствуется вся тяжесть света, дворянского быта, вся сила жизненного закона тяготения, притяжения к земле. В нём нет воздушности, лёгкости. Он хочет быть странником и не может стать им до последних дней своей жизни, прикованный к семье, к роду, к усадьбе, к своему кругу. С другой стороны, тот же Толстой, с небывалой силой отрицания и гениальностью, восстаёт против «света», не только в узком, но и в широком смысле слова, против безбожия и нигилизма не только всего дворянского общества, но и всего «культурного общества. Его бунтующая критика переходит в отрицание всей истории, всей культуры. Он, — с детских лет проникнутый светским тщеславием и условностью, поклонявшийся идеалу «*comme il faut*» и «быть, как все», — он не знал пощады в бичевании лжи, которой живёт общество, в срывании покровов со всех условностей. Через толстовское отрицание должны пройти дворянское, светское общество и господские классы, чтобы очиститься. Толстовское отрицание остаётся великой правдой для этого общества. А вот ещё толстовская антиномия. С одной стороны, поражает своеобразный материализм Толстого, его апология животной жизни, его исключительное проникновение в жизнь душевного тела и чуждость его жизни духа. Этот животный материализм чувствуется не только в его художественном творчестве, где он обнаруживает исключительно гениальный дар проникновения в первичные стихии жизни, в животные и растительные процессы жизни², но и в его религиозно-нравственной проповеди. Л. Толстой проповедует возвышенный, моралистический материализм, животно-растительное счастье, как осуществление высшего, божественного закона жизни. Когда он говорит о счастливой жизни, нет ни одного звука у него, который хотя бы намекнул на жизнь духовную. Есть только жизнь душевная, душевно-телесная. И тот же Л. Толстой оказывается сторонником крайней духовности, отрицает плоть, проповедует аскетизм. Его религиозно-нравственное учение оказывается каким-то небывалым и невозможным, возвышенно-моралистическим и аскетическим материализмом, какой-то спиритуалистической животностью. Сознание его задавлено

и ограничено душевно-телесным планом бытия и не может прорваться в царство духа.

И ещё толстовская антиномия. Во всём и всегда поражает Л. Толстой своей трезвостью, рассудочностью, практицизмом, утилитаризмом, отсутствием поэзии и мечты, непониманием красоты и нелюбовью, переходящей в гонение на красоту. И этот непоэтический, трезво-утилитарный гонитель красоты был одним из величайших художников мира; отрицавший красоту оставил нам творения вечной красоты. Эстетическое варварство и грубость соединялись с художественной гениальностью. Не менее антиномично и то, что Л. Толстой был крайним индивидуалистом, антиобщественным настолько, что никогда не понимал общественных форм борьбы со злом и общественных форм творческого созидания жизни и культуры, что отрицал историю, и этот антиобщественный индивидуалист не чувствовал личности, и в сущности, отрицал личность, весь был в стихии рода. Мы увидим даже, что с отсутствием ощущения и сознания личности связаны коренные особенности его мироощущения и мирознания. Крайний индивидуалист в «Войне и мире» с восторгом показал миру детскую пелёнку, запачканную в зелёное и жёлтое, и обнаружил, что самосознание личности не победило в нём еще родовой стихии. А не антиномично ли то, что отрицает мир и мировые ценности с невиданной дерзостью и радикализмом тот, кто весь прикован к имманентному миру и не может даже в воображении представить себе мир иной? Не антиномично ли, что человек, полный страстей, гневный до того, что, когда у него в имени сделали обыск, он пришёл в бешенство, требовал, чтобы это дело доложили государю, чтобы ему дали общественное удовлетворение, грозил навсегда покинуть Россию, что человек этот проповедовал вегетарианский, малокровный идеал непротivления злу? Не антиномично ли, что русский до мозга костей, с национальным мужицко-барским лицом, он проповедовал чуждую русскому народу англо-саксонскую религиозность? Этот гениальный человек всю жизнь искал смысла жизни, думал о смерти, не знал удовлетворения, и он же был почти лишён чувства и сознания трансцендентного, был ограничен кругозором имманентного мира. Наконец, самая разительная толстовская антиномия: проповедник христианства, исключительно занятый Евангелием и учением Христа, он был до того чужд религии Христа, как мало кто был чужд — после явления Христа был ли-

шён всякого чувствования личности Христа. Эта поражающая, непостижимая антиномичность Л. Толстого, на которую ещё недостаточно было обращено внимания, есть тайна его гениальной личности, тайна судьбы его, которая не может быть вполне разгадана. Гипноз толстовской простоты, почти библейский стиль его покрывает эту антиномичность, создаёт иллюзию цельности и ясности. Л. Толстому суждено сыграть большую роль в религиозном возрождении России и всего мира: он с гениальной силой обратил современных людей вновь к религии и религиозному смыслу жизни, он обозначил собой кризис исторического христианства, он — слабый, немощный религиозный мыслитель, по стихии своей и сознанию чуждый тайнам религии Христа, он — рационалист. Рационалист этот, проповедник рассудочно-утилитарного благополучия, потребовал от христианского мира безумия во имя последовательного исполнения учения и заповедей Христа и заставил христианский мир задуматься над своей нехристианской, полной лжи и лицемерия жизнью. Он — страшный враг христианства и предтеча христианского возрождения. На гениальной личности и жизни Л. Толстого лежит печать какой-то особой миссии.

Мироощущение и мирознание Льва Толстого вполне внехристианское и дохристианское во все периоды его жизни. Это нужно решительно сказать, не считаясь ни с какими утилитарными соображениями. Великий гений прежде всего требует, чтобы о нём была сказана правда по существу. Лев Толстой весь в Ветхом Завете, в язычестве, в Отчей Ипостаси. Религия Толстого — не новое христианство, это — ветхозаветная, дохристианская религия, предшествующая христианскому откровению о личности, откровению второй, Сыновней Ипостаси. Л. Толстому так чуждо самосознание личности, как могло быть чуждо лишь человеку дохристианской эпохи. Он не чувствует единственности и неповторяемости всякого лица и тайны вечной его судьбы. Для него существует лишь мировая душа, а не отдельная личность, он живёт в стихии рода, а не в сознании личности. Стихия рода, природная душа мира раскрывалась в Ветхом Завете и язычестве, и с ними связана религия дохристианского откровения Отчей Ипостаси. С христианским откровением Сыновней Ипостаси, Логоса, Личности, связано самосознание лица и его вечная судьба. Всякое лицо религиозно пребывает в мистической атмосфере Сыновней Ипостаси, Христа, Личности. До Христа, в глубоком, религиоз-

ном смысле слова, нет ещё личности. Личность окончательно сознаёт себя лишь в религии Христа. Трагедия личной судьбы ведома лишь христианской эпохе. Л. Толстой совсем не чувствует христианской проблемы о личности, он не видит лица, лицо тонет для него в природной душе мира. Поэтому он не чувствует и не видит и лица Христа. Кто не видит никакого лица, тот не видит и лица Христа, ибо поистине во Христе, в Его Сыновней Ипостаси, всякое лицо пребывает и сознаёт себя. Самое сознание лица связано с Логосом, а не с душой мира. У Л. Толстого нет Логоса, и потому нет для него личности, для него — индивидуалиста. Да и все индивидуалисты, не знающие Логоса, не знают личности, их индивидуализм безликий, в природной душе мира пребывает. Мы увидим, как чужд Толстому Логос, как чужд ему Христос, он не враг Христа-Логоса в христианскую эпоху, он просто слеп и глух, он в дохристианской эпохе. Л. Толстой — космичен, он весь в душе мира, в тварной природе, он проникает в глубину её стихий, первичных стихий. В этом сила Толстого как художника, сила небывалая. И как отличается он от Достоевского, который был антропологичен, весь был в Логосе, довёл самосознание личности и её судьбы до крайних пределов, до болезни. С антропологизмом Достоевского, с напряжённым чувством личности и её трагедии связано его необыкновенное чувство личности Христа, его почти иступлённая любовь к Лику Христову. У Достоевского было интимное отношение к Христу, у Толстого нет никакого отношения к Христу, к самому Христу. Для Толстого существует не Христос, а лишь учение Христа, заповеди Христа. Язычник Гёте чувствовал Христа гораздо интимнее, гораздо лучше видел Лик Христа, чем Толстой. Лик Христов заслоняется для Л. Толстого чем-то безличным, стихийным, общим. Он слышит заповеди Христа и не слышит самого Христа. Он не в силах понять, что единственно важен сам Христос, что спасает лишь Его таинственная и близкая нам Личность. Ему чуждо, инородно христианское откровение о Личности Христа и о всякой личности. Он принимает христианство безлично, отвлечённо, без Христа, без всякого лика.

Л. Толстой, как никто и никогда ещё, жаждал исполнить до конца волю Отца. Всю жизнь мучила его пожирающая жажда исполнить закон жизни Хозяина, пославшего его в жизнь. Такой жажды исполнения заповеди, (морального) закона, ни у кого нельзя встретить, кроме Толстого. Это главное, коренное в нём.

И Л. Толстой верил, как никто и никогда, что волю Отца легко исполнить до конца, он не хотел признать трудности исполнения заповедей. Человек сам, собственными силами должен и может исполнить волю Отца. Легко это исполнение, оно даёт счастье и благополучие. Заповедь, закон жизни исполняется исключительно в отношении человека к Отцу, в религиозной атмосфере Отчей Ипостаси. Л. Толстой хочет исполнить волю Отца не через Сына, он не знает Сына и не нуждается в Сыне. Религиозная атмосфера богосыновства, Сыновней Ипостаси не нужна Толстому для исполнения воли Отца, он сам, сам исполнит волю Отца, сам может. Толстой считает безнравственным, когда волю Отца признают возможным исполнить лишь через Сына, Искупителя и Спасителя, он относится с отвращением к идее искупления и спасения, т. е. относится с отвращением не к Иисусу из Назарета, а к Христу-Логосу, принесшему себя в жертву за грехи мира. Религия Л. Толстого хочет знать лишь Отца и не хочет знать Сына; Сын мешает ему выполнить собственными силами закон Отца. Л. Толстой последовательно исповедует религию закона, религию ветхозаветную. Религия благодати, религия новозаветная ему чужда и неизвестна. Уж скорее Толстой буддист, чем христианин. Буддизм есть религия самоспасения, как и религия Толстого. Буддизм не знает личности Бога, личности Спасителя и личности спасаемого. Буддизм есть религия сострадания, а не любви. Многие говорят, что Толстой истинный христианин, и противопоставляют его лживым и лицемерным христианам, которыми полон мир. Но существование лживых и лицемерных христиан, творящих дела ненависти, вместо дел любви, не оправдывает злоупотребления словами, игры словами порождающими ложь. Нельзя назвать христианином того, кому была чужда и отвратительна сама идея искупления, сама нужда в Спасителе, т. е. чужда и отвратительна была идея Христа. Такой вражды к идее искупления, такого бичевания её как безнравственной, не знал ещё христианский мир. В Л. Толстом ветхозаветная религия закона восстала против новозаветной религии благодати, против тайны искупления. Л. Толстой хотел превратить христианство в религию правила, закона, моральной заповеди, т. е. в религию ветхозаветную, дохристианскую, не ведающую благодати, в религию, не только не ведающую искупления, но и не жаждущую искупления, как жаждал его мир языческий в последние дни свои. Толстой говорит, что лучше было бы, если бы совсем не су-

ществовало христианства, как религии искупления и спасения, что тогда легче было бы исполнить волю Отца. Все религии, по его мнению, лучше религии Христа — Сына Божьего, так как все они учат, как жить, дают закон, правило, заповедь; религия же спасения переносит всё с человека на Спасителя и на мистерию искупления. Л. Толстой ненавидит церковные догматы потому, что хочет религии самоспасения, как единственно нравственной, единственно выполняющей волю Отца, Его закон; догматы же эти говорят о спасении через Спасителя, через Его искупительную жертву. Для Толстого едино-спасительны заповеди Христа, выполняемые человеком его собственными силами. Эти заповеди и есть воля Отца. Сам же Христос, сказавший о себе: «Я есмь путь, истина и жизнь» — Толстому совсем не нужен, он не только хочет обойтись без Христа-Спасителя, но считает безнравственным всякое обращение к Спасителю, всякую помощь в исполнении воли Отца. Для него не существует Сына, существует только Отец, т. е. значит он весь в Ветхом Завете и не знает Нового Завета.

Л. Толстому кажется лёгким исполнить до конца, собственными силами, закон Отца потому, что он не чувствует и не знает зла и греха. Не ведает иррациональной стихии зла, и потому не нужно ему искупление, не хочет знать он Искупителя. На зло Толстой смотрит рационалистически, сократически, в зле видит лишь незнание, лишь недостаток разумного сознания, почти что недоразумение; он отрицает бездонную и иррациональную тайну зла, связанную с бездонной и иррациональной тайной свободы. Сознавший закон добра, по Толстому, уже в силу одного этого сознания пожелает его исполнить. Зло делает лишь лишённый сознания. Зло коренится не в иррациональной воле и не в иррациональной свободе, а в отсутствии разумного сознания, в неведении. Нельзя делать зло, если знаешь, что такое добро. Человеческая природа естественно благостна, безгрешна и делает зло лишь по неведению закона. *Добро есть разумное.* Это особенно подчёркивает Толстой. Зло делать глупо, нет расчёта делать зло, лишь добро ведёт к жизненному благополучию, к счастью. Ясно, что на добро и зло Толстой смотрит так, как смотрел Сократ, т. е. рационалистически, отождествляя добро с разумным, а зло с неразумным. Разумное сознание закона, данного Отцом, приведёт к окончательному торжеству добра и устранению зла. Легко и радостно произойдёт это, собственными силами челове-

ка совершится. Л. Толстой, как никто, бичует зло и ложь жизни и призывает к моральному максимализму, к немедленному и окончательному осуществлению добра во всём. Но его моральный максимализм в отношении жизни именно и связан с неведением зла. Он с наивностью, заключающей в себе гениальный гипноз, не хочет знать силу зла, трудность его преодоления, иррациональную трагедию, с ним связанную. На поверхностный взгляд может показаться, что именно Л. Толстой лучше других видел зло жизни, глубже других вскрывал его. Но это обман зрения. Толстой видел, что люди не исполняют воли Отца, пославшего их в жизнь, ему люди представлялись ходящими во тьме, так как они живут по закону мира, а не по закону Отца, Которого не признают; люди казались ему неразумными и безумными. Но зла он никакого не видел. Если бы он увидел зло и постиг тайну его, то он никогда бы уже не сказал, что легко исполнить до конца волю Отца природными силами человека, что добро может победить без искупления зла. Толстой не видел греха, грех был для него лишь незнанием, лишь слабостью разумного сознания закона Отца. Не знал греха, не знал и искупления. От наивного неведения зла и греха проистекает и толстовское отрицание тяготы всемирной истории, толстовский максимализм. Тут мы вновь приходим к тому, что уже говорили, с чего начали. Л. Толстой не видит зла и греха потому, что не видит личности. Сознание зла и греха связано с сознанием личности, и самость личности сознается в связи с сознанием зла и греха, в связи с противлением личности природным стихиям, с постановкой границ. Отсутствие личного самосознания в Толстом и есть в нём отсутствие сознания зла и греха. Он не знает трагедии личности — трагедии зла и греха. Зло непобедимо сознанием, разумом, оно бездонно глубоко заложено в человеке. Человеческая природа не добрая, а падшая природа, человеческий разум — падший разум. Нужна мистерия искупления, чтобы зло было побеждено. А у Толстого был какой-то натуралистический оптимизм.

Л. Толстой, бунтующий против всего общества, против всей культуры, пришёл к крайнему оптимизму, отрицающему испорченность и греховность природы. Толстой верит, что Бог сам осуществляет добро в мире и что только не нужно противиться Его воле. Всё естественное — доброе. В этом Толстой приближается к Жан-Жаку Руссо и к учению XVIII века об естественном состоянии. Толстовское учение о непротивлении злу связано с учени-

ем об естественном состоянии как добром и божественном. Не противясь злу, и добро само осуществится без твоей активности, будет естественное состояние, в котором непосредственно осуществляется божественная воля, высший закон жизни, который и есть Бог³. Учение Льва Толстого о Боге есть особая форма пантеизма, для которого не существует личности Бога, как не существует личности человека и вообще никакой личности. У Толстого Бог не существо, а закон, разлитое во всём божественное начало. Для него так же не существует личного Бога, как не существует личного бессмертия. Его пантеистическое сознание не допускает существования двух миров — мира природного, имманентного, и мира божественного, трансцендентного. Такое пантеистическое сознание предполагает, что добро, т. е. божественный закон жизни, осуществляется природно-имманентным путём, без благодати, без вхождения трансцендентного в этот мир. Толстовский пантеизм смешивает Бога с душой мира. Но пантеизм его не выдержан и временами приобретает привкус деизма. Ведь Бог, который даёт закон жизни, заповедь, и не даёт благодати, помощи, есть мёртвый Бог деизма. У Толстого было могучее богочувствование, но слабое богосознание, он стихийно пребывает в Отчей Ипостаси, но без Логоса. Подобно тому, как Л. Толстой верит в благодать естественного состояния и в осуществимость добра силами природными, в которых действует сама божественная воля, он верит и в непогрешимость, безошибочность естественного разума. Он не видит падения разума. Разум для него безгрешен. Он не знает, что есть разум, отпавший от Разума Божественного, и есть разум, соединённый с Разумом Божественным. Толстой держится за наивный, естественный рационализм. Он всегда апеллирует к разуму, к рассудочному началу, а не к воле, не к свободе. В рационализме Толстого, временами очень грубом, сказывается всё та же вера в благодатное естественное состояние, в доброту природы и природного. Толстовский рационализм и натурализм не в силах объяснить отклонение от разумного и естественного состояния, а ведь отклонениями этими наполнена человеческая жизнь, и они рождают то зло и ту ложь жизни, которые так могущественно бичует Толстой. Почему человечество отпало от доброго естественного состояния и разумного закона жизни, царившего в этом состоянии? Значит, было какое-то отпадение, грехопадение. Толстой скажет: всё зло оттого, что люди ходят во тьме, не знают божественного закона жизни. Но откуда

эта тьма и незнание? Мы неизбежно приходим к иррациональности зла как предельной тайне — тайне свободы. В толстовском мироощущении есть что-то общее с мироощущением Розанова, тоже не ведающего зла, не видящего лика, тоже верящего в благость естественного, тоже пребывающего в Отчей Ипостаси и в душе мира, в Ветхом Завете и язычестве. Л. Толстой и В. Розанов, при всём своём различии, одинаково противятся религии Сына, религии искупления.

Нет надобности подробно и систематически излагать учение Л. Толстого, чтобы подтвердить правильность моей характеристики. Учение Толстого слишком хорошо всем известно. Но обычно книги читаются предвзято, и видят в них то, что хотят видеть, не видят того, чего не хотят видеть. Поэтому я всё-таки приведу ряд наиболее ярких мест, подтверждающих мой взгляд на Толстого. Возьму прежде всего цитаты из основного религиозно-философского трактата Толстого «В чём моя вера?». «Мне всегда казалось странным, для чего Христос, вперёд зная, что исполнение его учения невозможно одними силами человека, дал такие ясные и прекрасные правила, относящиеся прямо к каждому отдельному человеку? Читая эти правила, мне всегда казалось, что они относятся прямо ко мне, от меня одного требуют исполнения»⁴ [с. 13]. «Христос говорит: «Я нахожу, что способ обеспечения вашей жизни очень глуп и дурён. Я вам предлагаю совсем другой»⁴ [с. 75]. «Человеческой природе свойственно делать то, что лучше. И всякое учение о жизни людей есть только учение о том, что лучше для людей. Если людям показано, что им лучше делать, то как же они могут говорить, что они желают делать то, что лучше, но не могут? Люди не могут делать только то, что хуже, а не могут не делать того, что лучше»⁴ [с. 88]. «Как только он (человек) рассуждает, то он сознаёт себя разумным, и, сознавая себя разумным, он не может не признавать того, что разумно, и того, что неразумно. Разум ничего не приказывает; он только освещает»⁴ [с. 89]. «Только ложное представление о том, что есть то, чего нет, и нет того, что есть, может привести людей к такому странному отрицанию исполнимости того, что, по их признанию, даёт им благо. Ложное представление, приведшее к этому, есть то, что называется догматической христианской верой, — тою самою, которой с детства учат всех исповедующих церковную христианскую веру по разным православным, католическим и протестантским катехизисам»⁴ [с. 89]. «Утверждается, что

мёртвые продолжают быть живы. И так как мёртвые никак не могут ни подтвердить того, что они умерли, ни того, что они живы, так же как камень не может подтвердить того, что он может или не может говорить, то это отсутствие отрицания принимается за доказательство и утверждается, что люди, которые умерли, не умерли. И ещё с большей торжественностью и уверенностью утверждается то, что после Христа, верую в Него, человек освобождается от греха, т. е. что человеку после Христа не нужно уже разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только, что Христос искупил его от греха, и тогда он всегда безгрешен, т. е. совершенно хорош. По этому учению люди должны вообразить, что в них разум бессилён и что потому-то они и безгрешны, т. е. не могут ошибаться»⁴ [с. 91–92]. «То, что по этому учению называется истинной жизнью, есть жизнь личная, блаженная, безгрешная и вечная, т. е. такая, какую никто никогда не знал и которой нет»⁴ [с. 92]. «Адам за меня согрешил, т. е. *ошибся* (курсив мой)»⁴ [с. 92]. Л. Толстой говорит, что по учению христианской Церкви «жизнь истинная, безгрешная — в вере, т. е. в воображении, т. е. *в сумасшествии* (курсив мой)». И через несколько строк прибавляет про церковное учение: «ведь это полное сумасшествие»⁴ [с. 93]. «Церковное учение дало основной смысл жизни людей в том, что человек имеет право на блаженную жизнь, и что блаженство это достигается не усилиями человека, а чем-то внешним, и это мирозерцание и стало основой всей нашей науки и философии»⁴ [с. 94]. «Разум, тот, который освещает нашу жизнь и заставляет нас изменять наши поступки, есть не иллюзия, и его-то уже никак нельзя отрицать. *Следование разуму для достижения блага — в этом было всегда учение всех истинных учителей человечества, и в этом всё учение Христа*, (курсив мой) и его-то, т. е. разум, отрицать разумом уж никак нельзя»⁴ [с. 97]. «Прежде и после Христа люди говорили то же самое: то, что в человеке живёт божественный свет, сошедший с неба, и свет этот есть разум, — и что ему одному надо служить и в нём одном искать благо»⁴ [с. 98]. «Люди всё слышали, всё поняли, но только пропустили мимо ушей то, что учитель говорил только о том, что людям надо делать своё счастье самим здесь, на том дворе, на котором они сошлись, а вообразили себе, что это двор постоялый, а там где-то будет настоящий»⁴ [с. 102]. «Никто не поможет, коли сами себе не поможем. А самим и помогать нечего. Только не ждать ничего ни с неба, ни с земли, а са-

мим перестать губить себя»⁴ [с. 103]. «Чтобы понять учение Христа, надо прежде всего опомниться, одуматься»⁴ [с. 104]. «О плотском же личном воскресении Он никогда не говорил»⁴ [с. 112]. «Понятие о будущей личной жизни пришло к нам не из еврейского учения и не из учения Христа. Оно вошло в церковное учение совершенно со стороны. Как ни странно это покажется, но нельзя не сказать, что *верование в будущую личную жизнь есть очень низменное и грубое представление, основанное на смешении сна со смертью и свойственное всем диким народам* (курсив мой)»⁴ [с. 115]. «Христос противопоставляет личной жизни не загробную жизнь, а жизнь общую, связанную с жизнью настоящей, прошедшей и будущей всего человечества»⁴ [с. 118]. «Всё учение Христа в том, что ученики Его, поняв призрачность личной жизни, отреклись от неё и перенесли её в жизнь всего человечества, в жизнь Сына Человеческого. Учение же о бессмертии личной жизни не только не призывает к отречению от своей личной жизни, но навеки закрепляет эту личность... Жизнь есть жизнь, и ею надо воспользоваться как можно лучше. Жить для себя одного неразумно. И потому, с тех пор как есть люди, они отыскивают для жизни цели вне себя: живут для своего ребёнка, для народа, для человечества, для всего, что не умирает с личной жизнью»⁴ [с. 125]. «Если человек не хватается за то, что спасает его, то это значит только то, что человек не понял своего положения»⁴ [с. 125]. «Вера происходит только от сознания своего положения. Вера зиждется только на разумном сознании того, что лучше делать, находясь в известном положении»⁴ [с. 132]. «Ужасно сказать, не будь вовсе учения Христа с церковным учением, выросшим на нём, то те, которые теперь называются христианами, были бы гораздо ближе к учению Христа, т. е. к разумному учению о благе жизни, чем они теперь. Для них не были бы закрыты нравственные учения пророков всего человечества»⁴ [с. 135]. «Христос говорит, что есть верный мирской расчёт не заботиться о жизни мира... Нельзя не видеть, что положение учеников Христа должно быть лучше уже потому, что ученики Христа, делая всем добро, не будут возбуждать ненависти в людях»⁴ [с. 140]. «Христос учит именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо»⁴ [с. 142]. Перечисляя условия счастья, Толстой не может найти почти ни одного условия, связанного с духовной жизнью, всё связано с материальной, животнорастительной жизнью, как физический труд, здоровье и пр.

«Не мучеником надо быть во имя Христа, не этому учит Христос. Он учит тому, чтобы перестать мучить себя во имя ложного учения мира... *Христос учит людей не делать глупостей* (курсив мой). В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа... Не делай глупостей и тебе будет лучше»⁴ [с. 150]. «Христос... учит нас не делать того, что хуже, а делать то, что лучше для нас здесь, в этой жизни»⁴ [с. 152]. «Разрыв между учением о жизни и объяснением жизни начался с проповеди Павла, не знавшего этического учения, выраженного в Евангелии Матфея, и проповедовавшего чуждую Христу метафизико-кабалистическую теорию»⁴ [с. 168]. «Всё, что нужно для псевдо-христианина, — это таинства. Но таинства не делает сам верующий, а над ним его производят другие»⁴ [с. 169]. «Понятие о законе, несомненно разумном и по внутреннему сознанию обязательном для всех, до такой степени утрачено в нашем обществе, что существование у еврейского народа закона, определявшего всю жизнь их, который был бы обязателен не по принуждению, а по внутреннему сознанию каждого, считается исключительным свойством одного еврейского народа»⁴ [с. 178]. «Я верю, что исполнение этого учения (Христа) легко и радостно»⁴ [с. 186].

Приведу еще характерные места из писем Л. Толстого. «Так: «Господи, милостив буди мне грешному», я теперь не совсем люблю, потому что это молитва эгоистическая, молитва слабости личной и потому бесполезная»⁵ [т. 1, с. 193]. «Мне очень бы хотелось помочь вам, — пишет он М. А. Сопоцько, — в том тяжёлом и опасном положении, в котором вы находитесь. Я говорю про ваше желание загипнотизировать себя в церковную веру. Это очень опасно, потому что при такой гипнотизации *утрачивается самое драгоценное, что есть в человеке — его разум* (курсив мой)»⁵ [т. 1, с. 240]. «Нельзя безнаказанно допустить в свою веру что-либо неразумное, что-либо не оправдываемое разумом. Разум дан свыше, чтобы руководить нас. Если же мы заглушим его, это не пройдет безнаказанно. И *гибель разума самая ужасная гибель* (курсив мой)»⁵ [т. 1, с. 246]. «Чудеса евангельские не могли быть, потому что они нарушают законы того разума, посредством которого мы понимаем жизнь, чудеса не нужны, потому что ни в чём никого не могут убедить. В той же дикой и суеверной среде, в которой жил и действовал Христос, не могли не сложиться предания о чудесах, как они, не переставая, и в наше время складываются легко в суеверной среде народа»⁵ [т. 1, с. 288].

«Вы спрашиваете меня о теософии. Меня самого интересовало это учение, но, к сожалению, оно допускает чудесное, а малейшее допущение чудесного уже лишает религию той простоты и ясности, которые свойственны истинному отношению к Богу и ближнему. И потому в учении этом может быть много очень хорошего, как в учениях мистиков, как в спиритизме даже, но надо остерегаться его. Главное же, думаю, что те люди, которым нужно чудесное, не понимают ещё вполне истинного, простого христианского учения»⁵ [т. 1, с. 327]. «Для того же, чтобы человек знал то, чего от него хочет Тот, Кто его послал в мир, — Он вложил в него разум, посредством которого человек всегда, если он точно хочет этого, может знать волю Бога, т. е. то, чего хочет от него Тот, Кто послал его в мир... Если же мы будем держаться того, что нам говорит разум, то все соединимся, потому что разум у всех один, и только разум соединяет людей и не мешает проявлению свойственной людям любви друг к другу»⁵ [т. 1, с. 190]. «Разум старше и достовернее всех писаний и преданий, он был уже тогда, когда не было никаких преданий и писаний и он дан каждому из нас прямо от Бога. Слова Евангелия о том, что все грехи простятся, но только не хула на Святого Духа, по моему мнению, относятся прямо к утверждению того, что разуму не надо верить. Действительно, если не верить разуму, данному нам от Бога, то кому же верить? Неужели тем людям, которые хотят нас заставить верить тому, что несогласно с разумом, данным от Бога»?⁵ [т. 2, с. 188]. «О внутреннем своём совершенствовании нельзя молиться, потому что нам дано всё то, что нужно для нашего совершенствования, и прибавлять к этому ничего не нужно и нельзя»⁵ [т. 2, с. 191]. «Просить Бога и придумывать средства, как совершенствоваться, можно было бы только тогда, когда бы нам были поставлены какие-либо преграды для этого дела, и мы сами не имели бы для этого сил»⁵ [т. 2, с. 197]. «Мы здесь, в этом мире, как на постоялом дворе, в котором хозяин устроил всё, что нам, путешественникам, точно нужно, и сам ушёл, оставив наставления, как нам вести себя в этом временном приюте. Всё, что нам нужно, у нас под руками; так какие же нам ещё придумывать и о чём просить. Только бы исполнить то, что нам предписано. Так и в нашем духовном мире — всё нужное нам дано, и дело только за нами»⁵ [т. 2, с. 197]. «Нет более безнравственного и вредного учения, как то, что человек не может совершенствоваться своими силами»⁵ [т. 2, с. 199]. «Превратное и нелепое понятие о том, что

человеческий разум своими усилиями не может приближаться к истине, происходит от такого же ужасного суеверия, как и то, по которому человек не может без помощи извне приближаться к исполнению воли Бога. Сущность этого суеверия в том, что полная, совершенная истина будто бы открыта самим Богом... Суеверие это ужасно... Человек перестаёт верить единственному средству познания истины — усилиям своего разума»⁵ [т. 2, с. 200]. «Помимо разума никакая истина не может войти в душу человека»⁵ [т. 2, с. 201]. «Разумное и нравственное всегда совпадает»⁵ [т. 2, с. 205]. «Вера в общение с душами умерших до такой степени, не говоря уже о том, что она мне совершенно не нужна, до такой степени нарушает всё то, основанное на разуме, моё мировоззрение, что, если бы я услышал голос духов или увидел бы их проявление, я обратился бы к психиатру, прося его помочь моему очевидному мозговому расстройству»⁵ [т. 2, с. 215]. «Вы говорите, — пишет Л. Н. священнику С. К., — что так как человек есть личность, то и Бог есть тоже Личность. Мне же кажется, что сознание человеком себя личностью есть сознание человеком своей ограниченности. Всякое же ограничение несовместимо с понятием Бога. Если допустить то, что Бог есть Личность, то естественным последствием этого будет, как это и происходило всегда во всех первобытных религиях, приписание Богу человеческих свойств... Такое понимание Бога как Личности, и такого Его закона, выраженного в какой-либо книге, совершенно невозможно для меня»⁵ [т. 2, с. 264]. Можно было бы привести ещё много мест из разных произведений Л. Толстого для подтверждения моего взгляда на религию Толстого, но и этого достаточно.

Ясно, что религия Льва Толстого есть религия самоспасения, спасения естественными и человеческими силами. Поэтому религия эта не нуждается в Спасителе, не знает Сыновней Ипостаси. Л. Толстой хочет спастись в силу своих личных заслуг, а не в искупительную силу кровавой жертвы, принесённой Сыном Божьим за грехи мира. Гордыня Л. Толстого в том, что он не нуждается в благодатной помощи Божьей для исполнения воли Божьей. Коренное в Л. Толстом то, что он не нуждается в искуплении, так как не знает греха, не видит непобедимости зла естественным путём. Он не нуждается в Искупителе и Спасителе и чужд, как никто, религии искупления и спасения. Идею искупления он считает главным препятствием для осуществления закона Отца-Хозяина. Христос, как Спаситель и Искупитель,

как «путь, истина и жизнь», не только не нужен, но мешает исполнению заповедей, которые Толстой считает христианскими. Новый Завет Л. Толстой понимает как закон, заповедь, правило Отца-Хозяина, т. е. понимает его, как Ветхий Завет⁶. Он ещё не знает той тайны Нового Завета, что в Сыновней Ипостаси, во Христе нет уже закона и подзаконности, а есть благодать и свобода. Л. Толстой, как пребывающий исключительно в Отчей Ипостаси, в Ветхом Завете и язычестве, никогда не мог постигнуть той тайны, что не заповеди Христа, не учение Христа, а сам Христос, Его таинственная Личность есть «истина, путь и жизнь». Религия Христа есть учение о Христе, а не учение Христа. Учение о Христе, т. е. религия Христа, всегда была для Л. Толстого безумием, он относился к ней, как язычник. Тут мы подходим к другой, не менее ясной стороне религии Л. Толстого. Это — религия в пределах разума, рационалистическая религия, отвергающая всякую мистику, всякое таинство, всякое чудо, как противное разуму, как безумие. Эта разумная религия близка рационалистическому протестантизму, Канту и Гарнаку. Толстой — грубый рационалист в отношении к догматам, его критика догматов элементарно-рассудочная. Он с победоносным видом отвергает догмат Троичности Божества, на том простом основании, что 1 не может равняться 3. Он прямо говорит, что религия Христа, Сына Божьего, Искупителя и Спасителя, есть сумасшествие. Он непримиримый враг чудесного, таинственного. Он отвергает самую идею откровения как бессмыслицу. Почти невероятно, что такой гениальный художник и гениальный человек, такая религиозная натура, был одержим таким грубым и элементарным рационализмом, таким бесом рассудочности. Чудовищно, что такой гигант, как Л. Толстой, свёл христианство к тому, что Христос учит не делать глупостей, учит благополучию на земле. Гениальная религиозная натура Л. Толстого находится в тисках элементарной рассудочности и элементарного утилитаризма. Как религиозная личность — это немой гений, не обладающий даром Слова. И эта непостижимая тайна его личности связана с тем, что всё существо его пребывает в Отчей Ипостаси и в душе мира, вне Сыновней Ипостаси, вне Логоса. Л. Толстой не только был религиозной натурой, всю жизнь сгоравшей от религиозной жажды, он был и мистической натурой в особом смысле. Есть мистика в «Войне и мире», в «Кзаках», в его отношении к первостихиям жизни; есть мистика и в самой его жизни, в его

судьбе. Но мистика эта никогда не встречается с Логосом, т. е. никогда не может быть осознана⁷. В своей религиозной и мистической жизни Толстой никогда не встречается с христианством. Нехристианская природа Толстого художественно вскрыта Мережковским. Но то, что Мережковский хотел сказать по поводу Толстого, тоже осталось вне Логоса, и христианский вопрос о личности не был им поставлен.

Очень легко смешать аскетизм толстовский с аскетизмом христианским. Часто говорили, что по своему моральному аскетизму Л. Толстой плоть от плоти и кровь от крови христианства исторического. Одни говорили это в защиту Толстого, другие ставили ему это в вину. Но нужно сказать, что аскетизм Л. Толстого очень мало имеет общего с аскетизмом христианским. Если брать христианский аскетизм в его мистической сущности, то он никогда не был проповедью обеднения жизни, упрощения, нисхождения. Христианский аскетизм всегда имеет в виду бесконечно богатый мистический мир, высшую ступень бытия. В моральном же аскетизме Толстого нет ничего мистического, нет богатств иных миров. Как отличается аскетизм бедняжки Божьего св. Франциска от толстовского опрощения. Францисканство полно красоты, и нет в нём ничего похожего на толстовский морализм. От св. Франциска родилась красота раннего Возрождения. Бедность была для него Прекрасной Дамой. У Толстого же не было Прекрасной Дамы. Он проповедовал обеднение жизни во имя более счастливого, более благополучного устройства жизни на земле. Ему чужда идея мессианского пира, которая мистически воодушевляет христианскую аскетику. Моральный аскетизм Л. Толстого — это аскетизм народнический, столь характерный для России. У нас образовался особый тип аскетизма, не аскетизма мистического, а аскетизма народнического, аскетизма во имя блага народа на земле. Этот аскетизм встречается в форме барской, у кающихся дворян, и в форме интеллигентской, у интеллигентов-народников. Этот аскетизм обычно связан с гонением на красоту, на метафизику и мистику, как на роскошь недозволенную, безнравственную. Этот аскетизм религиозно ведёт к иконоборчеству, к отрицанию символики культа. Л. Толстой был иконоборцем. Иконопочитание и вся связанная с ним символика культа казалась безнравственной, непозволительной роскошью, запрещённой его морально-аскетическим сознанием. Л. Толстой не допускает, что существует священная роскошь

и священное богатство. Гениальному художнику казалась красота безнравственной роскошью, богатством, не дозволенным жизни дал закон добра, и лишь добро есть ценность, лишь добро божественно. Хозяин жизни не поставил перед человеком и миром идеальный образ красоты как верховной цели бытия. Красота — от лукавого, от Отца лишь нравственный закон. Л. Толстой — гонитель красоты во имя добра. Он утверждает исключительное преобладание добра не только над красотой, но и над истиной. Во имя исключительного добра он отрицает не только эстетику, но и метафизику и мистику как пути познания истины. И красота и истина — роскошь, богатство. Пир эстетики и пир метафизики запрещён Хозяином жизни. Нужно жить простым законом добра, исключительной моральностью. Никогда ещё морализм не был доведён до таких крайних пределов, как у Толстого. Морализм становится страшен, от него делается удушье. Ведь красота и истина не менее божественны, чем добро, не менее — ценности. Добро не смеет главенствовать над истиной и красотой, красота и истина не менее близки к Богу, к Первоисточнику, чем добро. Исключительный, отвлеченный морализм, доведённый до последних пределов, ставит вопрос о том, что может быть демоническое добро, добро, истребляющее бытие, понижающее уровень бытия. Если может быть демоническая красота и демоническое знание, то может быть и демоническое добро. Христианство, взятое в мистической его глубине, не только не отрицает красоты, но создаёт невиданную новую красоту, не только не отрицает гнозиса, но создаёт высший гнозис. Красоту и гнозис скорее отрицают рационалисты и позитивисты и часто делают это во имя призрачного добра. Морализм Л. Толстого связан с его религией самоспасения, с отрицанием онтологического смысла искупления. Но аскетический морализм Толстого одной лишь своей стороной обращён к обеднению и подавлению бытия, другой своей стороной обращён он к новому миру и дерзновенно отрицает зло.

* * *

В толстовском морализме есть начало косо-консервативное и есть начало революционно-бунтарское. Л. Толстой с небывалой силой и радикализмом восстал против лицемерия quasi-христианского общества, против лжи quasi-христианского государства. Он гениально изобличил чудовищную неправду и мертвенность казённого, официального христианства, он поставил зеркало пе-

ред притворно и мертвенно христианским обществом и заставил ужаснуться людей с чуткой совестью. Как религиозный критик и как искатель, Л. Толстой навеки останется великим и дорогим. Но сила Толстого в деле религиозного возрождения исключительно отрицательно-критическая. Он безмерно много сделал для пробуждения от религиозной спячки, но не для углубления религиозного сознания. Нужно, однако, помнить, что Л. Толстой обращался с своими исканиями и критикой к обществу или откровенно атеистическому, или лицемерно и притворно христианскому, или просто индифферентному. Этому обществу нельзя было религиозно повредить, оно было уж совсем повреждено. А мертвенно-бытовое, внешне-обрядовое православие полезно и важно было обеспокоить и взбудоражить. Л. Толстой самый последовательный и самый крайний анархист-идеалист, какого только знает история человеческой мысли. Опровергнуть толстовский анархизм очень легко, в этом анархизме соединяется крайний рационализм с настоящим безумием. Но толстовский анархический бунт нужен был миру. «Христианский» мир до того изолгался в своих основах, что явилась иррациональная потребность в таком бунте. Я думаю, что именно толстовский анархизм, по существу несостоятельный, — очистителен, и значение его огромно. Толстовский анархический бунт обозначает кризис исторического христианства, перевал в жизни Церкви. Бунт этот предваряет грядущее христианское возрождение. И остаётся для нас тайной, рационально непостижимой, почему делу христианского возрождения послужил человек, чуждый христианству, весь пребывающий в стихии ветхозаветной, дохристианской. Последняя судьба Толстого остаётся тайной, ведомой лишь Богу. Не нам судить. Л. Толстой сам отлучил себя от Церкви, и перед этим фактом бледнеет факт отлучения его русским Св. Синодом. Мы должны прямо и открыто сказать, что Л. Толстой ничего общего не имеет с христианским сознанием, что выдуманное им «христианство» ничего общего не имеет с тем подлинным христианством, для которого в Церкви Христовой неизменно хранится образ Христа. Но Мы ничего не смеем сказать о последней тайне его окончательных отношений к Церкви и о том, что совершилось с ним в час смерти. По человечеству же мы знаем, что своей критикой, своими исканиями, своей жизнью Л. Толстой пробуждал мир, религиозно заснувший и омертвевший. Несколько поколений русских людей прошло через Толстого, росло под его

влиянием, и влияние это не дай Бог отождествить с «толстовством» — явлением очень ограниченным. Без толстовской критики и толстовского искания мы были бы хуже и проснулись бы позже. Без Л. Толстого не стал бы так остро вопрос о жизненном, а не риторическом значении христианства. Ветхозаветная правда Толстого нужна была изолгавшемуся христианскому миру. Знаем мы также, что без Л. Толстого Россия немислима и что Россия не может от него отказаться. Мы любим Льва Толстого, как родину. Наши деды, наша земля в «Войне и мире». Он — наше богатство, наша роскошь, он, не любивший богатства и роскоши. Жизнь Л. Толстого — гениальный факт в жизни России. А всё гениальное — провиденциально. Ещё недавний «уход» Л. Толстого взволновал всю Россию и весь мир. То был гениальный «уход». То было завершение толстовского анархического бунта. Перед смертью Л. Толстой стал странником, оторвался от земли, к которой был прикован всей тяжестью быта. Под конец жизни великий старик вернулся к мистике, мистические ноты звучат сильнее и заглушают его рационализм. Он готовился к последнему перевороту.

1911

